

Чары природы и подвижничество самоучки

1 В одном из несравненных по душевной распаханности писем к Мальзербу (Malescherbes) он замечает: «Простите, Месье, хотя j'aime trop à parler de moi, я слишком люблю говорить о себе, но я не люблю говорить со всем миром»⁸. И он ласково и дружески оправдывается перед адресатом.

В «Исповеди» Руссо, однако, вынужден уже иметь дело со всеми потомками.

Я должен извиниться и оправдаться перед читателем, ибо я вошел в мелочные подробности, в которые буду входить и в дальнейшем, хотя они не представляют для него ни малейшего интереса. Чтобы осуществить задуманное мной – т. е. показать людям всего себя целиком, – надо сделать так, чтобы ничто меня касающееся не осталось для читателя неясным или скрытым. Надо, чтобы я постоянно был у него перед глазами, чтобы он следовал за мной во всех заблуждениях моего сердца, проникал во все закоулки моей жизни, чтобы он ни на минуту не терял меня из виду; в противном случае я боюсь, что, найдя в моем рассказе малейший пропуск, малейший пробел и спрашивая себя: «Что же он делал в это время?» – читатель станет обвинять меня, будто я не хотел говорить все. Я дал человеческому коварству довольно пищи своими рассказами, чтобы еще увеличить ее своим молчанием (с. 57).

Это трогательно-наивное замечание – один из важнейших ключей (помимо почти маниакального желания говорить полнейшую правду) к неповторимой манере «Исповеди», к тому, что Руссо желал откровенности «в строжайшем смысле слова». Отсюда несравненный, прошивающий все его поздние сочинения автобиографизм или эгоцентризм. Руссо сосредоточен на углублении в свое «я» до такой степени, что втягивает внутрь этого «я» также мельчайшие и даже сверхмельчайшие детали окружавшего и затрагивавшего душу внешнего мира.

Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату, ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф ... по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затемняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходящий в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их (с. 21).

Два небольших вопроса. Во-первых, в какой мере в подобных воспоминаниях участвует художественное воображение? Мы этого не знаем, но, возможно, в значительной степени это так. Перед нами не только правдивый рассказ об истории своей души, но и величайший автобиографический роман крупнейшего французского сентименталиста. Человека с напряженным воображением. Сам Руссо оговаривает, что в отношении фактов память может ему изменять, а что касается переживаний, то он

помнит все; но позднейшие оценки способны накладываться на синхронные⁹. В «Прогулках одинокого мечтателя» обо всем этом Руссо, как мы увидим, выскажется гораздо подробней.

Во-вторых, можно ли вообще помнить мелкие вещные подробности спустя чуть не полвека? Безусловно. Недавно я убедился в этом вновь, познакомившись с неопубликованными воспоминаниями одной из моих ближайших друзей (И. Бессмертной) о своем детстве. Это вещный мир, наполненный мебелью сменявшегося в эвакуации жилья, мелкими предметами интерьеров, топографией дворов и улиц, разговорами 40–50-х годов XX в.

2 Вот один из словесных пейзажей Руссо.

Я ... вспоминаю очаровательную ночь, проведенную за городом, на дороге, которая вилась по берегу Роны или Сонны, – не помню, которой из двух. Сады, поднимавшиеся уступами, окаймляли дорогу на противоположном берегу. День был очень жаркий, вечер упоительный: роса увлажняла поблекшую траву; все кругом было тихо и спокойно, ни малейшего ветерка; в воздухе чувствовалась приятная прохлада; солнце, закатившись, оставило на небе красные облака, отражение которых придавало воде розовый оттенок; деревья на уступах были полны соловьев, перекликавшихся друг с другом. Я шел в каком-то экстазе, отдавшись всем сердцем, всеми чувствами очарованию окружающего, и лишь отчасти жалел о том, что наслаждаюсь в одиночестве. Поглощенный приятными мыслями, я продолжал прогулку до поздней ночи, не замечая усталости. Наконец она дала о себе знать. Я с наслаждением растянулся на каменной плите, в какой-то нише или сводчатом углублении стены на одном из уступов, верхушки дере-

вьев образовали сень над моим ложем; как раз надо мной пел соловей, и я уснул под его пение; мой сон был сладок, пробуждение еще слаще. Было совсем светло: открыв глаза, я увидел воду, зелень, живописную местность. Я встал, встряхнулся, почувствовал голод и весело направился к городу...

Так он опять – ему всегда это нравилось – идет пешком и неспешно, в одиночестве, на большое расстояние, сворачивая, куда заблагорассудится. Он особенно любил пейзажи в их смене, в непрерывной динамике. Проходя словно изнутри них. Любил горы и водные глади. Как, между прочим, Жан-Жак с молодости, да и позже, пока были силы, очень нравилось возиться с землей в чужих садах и огородах. Или собирать яблоки и виноград.

Пейзаж, в общем, выглядит у Руссо как всецело личные впечатления от пейзажа. В центре его всегда опять «я» и кусочек быстротекущей молодости. Замысел написать книгу не просто «о своей жизни» (название мемуаров Казановы), но передать «цепь переживаний, которыми отмечено развитие моего существа и *через них* – последовательность событий, являвшихся их причиной («c'est la chaîne des sentiments qui marque la succession de mon être, et par eux celle des événements qui en ont été la cause de l'effets»). И еще: «Непосредственная задача моей исповеди – дать точное представление о моем внутреннем мире во всех обстоятельствах моей жизни» (с. 243, р. 34).

Очевидно, что автобиографизм Руссо опередил не только всех его предшественников, но и весь XVIII век. И отчасти, может быть, непревзойден до сих пор по интонации, ошеломляющей откровенности и романтическому накалу.

Правда, есть еще малоприятные, но откровенные воспоминания Брюсова или удивительная автобиография великого Генри Мюллера. Но все это совсем другое.

З А вот еще отрывок о чарах природы, пропущенных сквозь себя. Он уезжает из Парижа в «Эрмитаж». Ранее «в вихре большого света ... всюду мои рощи, мои ручьи, мои одинокие прогулки являлись мне в воспоминаниях, чтобы отвлечь меня, опечалить, пробудить во мне вздохи и желания. <...> Я чувствовал себя созданным для уединения и деревни <...> Я путешествовал пешком только в мои счастливые дни и всегда с наслаждением» (с. 56).

9 апреля 1756 года я покинул город с тем, чтобы больше туда не возвращаться. (...) Мое маленькое убежище оказалось отделанным и обставленным просто, но чисто и даже с большим вкусом <...> И я находил восхитительным, что буду жить гостем у своего друга, в доме, нарочно выстроенным ею для меня.

Было холодно, и кое-где еще лежал снег, но земля уже начала покрываться растительностью; показывались фиалки и подорожники, на деревьях начали распускаться почки, и ночь моего приезда была даже отмечена первым пением соловья почти у меня под окном, в лесу, прилегавшем к дому. Поутру, пробудившись после легкого сна, я забыл о своем переселении и подумал, что все еще нахожусь на улице Гренель, как вдруг щебетанье птиц заставило меня вздрогнуть, и я воскликнул в восторге: «Наконец все мои желания исполнились!» Первой моей заботой было отдаться впечатлениям от сельских предметов, окружавших меня. Вместо того, чтобы устраиваться на новом месте, я стал предпринимать прогулки, и не было тропинки, просеки, рощи, уголка вокруг моего жилища, которых я не обошел бы на другой же день. Чем больше я присматривался к этому прелестному убежищу, тем больше чувствовал, что оно создано для меня. Это место, скорей уединенное, чем дикое, заставило меня переноситься на край света. В нем были те трогательные красоты, которых не встретишь в окрестностях городов; и, очутившись здесь,

нельзя было подумать, что находишься только в четырех милях от Парижа.

Через несколько дней, отданных упоению сельской жизнью, я принялся приводить в порядок свои старые бумаги и распределил время для занятий. Утренние часы я, как всегда, отдал переписке, а послеобеденное время – прогулке с записной книжкой в руках. Я никогда не мог писать и свободно размышлять иначе, как *sub dio* (под открытым небом), и не хотел менять этот метод; я решил, что лес Монморанси, начинающийся почти у моей двери, будет отныне моим рабочим кабинетом (с. 351–352).

«Я... не могу размышлять иначе, как во время ходьбы; как только я останавливаюсь, я перестаю думать: голова моя действует только вместе с ногами» (с. 357). Во время же, скажем, дождя, – в доме только выписки и компиляции. И переписка по вечерам, «Я люблю идти не спеша и останавливаться, когда вздумается. Бродячая жизнь – вот, что мне надо». В «Эмиле» тоже можно найти очень обстоятельное описание и доказательства того, что путешествовать, и особенно философу, надо только пешком.

Природа внутри его души, а душа внутри нее. Природа – это то, что за его дверью, и лес – это его кабинет. В нем он, в частности, обдумывал первые наброски «Исповеди» (полный, хотя и оборванный, вариант: 1765–1770) – «труд, идеей которого был обязан наблюдениям, сделанным над самим собой ... Известно, что большинство людей в течение своей жизни часто бывают не похожи на самих себя и как будто превращаются в совсем других людей ... в виду у меня был предмет более новый и даже более важный: отыскать причины таких изменений, остановиться на тех, которые зависят от нас, и показать, как мы сами можем ими управлять, чтобы сделаться лучше и уверенней в себе.

Глубоко исследуя самого себя и изыскивая в других, с чем связаны эти душевные состояния, я нашел, что они за-

висят большей частью от предшествовавшего впечатления, произведенного внешними предметами ... Климат, времена года, звуки, цвета, мрак, стихии, пища, шум, тишина, движение, покой – все воздействует на наш организм и, следовательно, на нашу душу...» (с. 355–366). Притом этими чувствами можно и должно управлять ради самосовершенствования. «...Такова была главная мысль...».

По сути, он – конечно, в самом широком смысле – предшественник психоанализа¹⁰. Помимо только что приведенной пронизательной выдержки, воспользуюсь еще одной. «Если бы еще все, о чем я хочу рассказать, заключалось в действиях, поступках и словах, – я мог бы описать и так или иначе передать их, но как рассказать о том, что не было ни сказано, ни даже подумано, а только почувствовано и пережито, причем я не мог бы указать ни на какой другой источник своего счастья, кроме этого самого чувства» (с. 201).

Специально комментировать психологические и педагогические идеи Руссо (прежде всего, в «Эмиле») я не стану. Это уже давно сделано на разные лады людьми, которые разбираются в этом сюжете лучше меня, хотя и, может быть, хуже, чем сам Руссо. «Странное дело, мои мечты становятся самыми приятными только в тот момент, когда мое положение наименее благополучно, и, наоборот, они наименее радужны, когда все улыбается вокруг меня. Моя упрямая голова не умеет приспособливаться к обстоятельствам. <...> Она желает творить ... Если я хочу нарисовать весну – в действительности должна быть зима...» (с. 153).

Мне остается только подчеркнуть, что основополагающая индивидуалистическая, хорошо продуманная и сквозная концепция Руссо касательно того, что он не похож ни на кого на свете, отнюдь не означает, будто его личность, всякая индивидуальная личность, онтологически независима и неподвижна. Нет, она зависит от людей, событий и

также от физиологических и природных явлений, от пережитых радостей и травм. Более или менее бессознательно впечатления прошлого, на которые накладывается их образ в воспоминаниях, сказываются в поведении личности. Она изменяется. Но индивид обязан сознать, и фильтровать, и направлять, насколько это от него зависит, такие изменения. Ему дана огромная свобода воли и выбора.

Личность должна самоизменяться.

4 Я уже упоминал, что Руссо не только был созерцателем природы, но и с удовольствием ухаживал за большим садом и огородом «маменьки». Точно так же он взялся быть управителем и сторожем фруктового сада г-на д'Эпине (с. 377).

Удивительно, что этот человек почти никогда не учился где-нибудь и чему-либо (за исключением, но лишь случайно и частично, чтения нотного текста и правил музыкальной композиции, немного латыни во время недолгого пребывания в католической семинарии).

Руссо самостоятельно постиг родную (т. е. французскую) грамоту. («Не знаю, как я научился читать», с. 12). В шесть лет он уже зачитывался *романами* (с. 59)! Это же относится к итальянскому и латинскому (с оговоркой о полезных встречах с прекрасно знавшим итальянский аббатом Гувоном (с. 81). Возможно, в самой скромной степени все-таки и к английскому, поскольку он побывал в Англии по приглашению Юма. Что до латинского, то Руссо обстоятельно рассказывает, как с немалыми трудностями он изучил его преимущественно по учебникам. Хотя мог лишь читать и переводить с латыни, но ни изъясняться, ни писать на ней. Но ему еще хотелось знать просодию, чтобы правильно читать латинские стихи. «...Я имел терпение проскандировать почти всего Вергилия и разметить в нем стопы и долготу слогов...» (с. 212–213).

Эта же самостоятельность, в общем, относится к нотной грамоте, хотя он получил несколько уроков. А впоследствии ему вздумалось придумать собственную, цифровую систему записи, не получившую особой поддержки. Рамо объяснил ему ее слабые стороны, и Руссо с ним согласился. Но он сделал, благодаря хлопотам Реомюра, доклад о ней в Академии и был принят там с комплиментами. Он был завзятым меломаном, знатоком и любителем особенно итальянской музыки, написал «Музыкальный словарь» и другие сочинения о музыке и в конечном счете стал модным композитором. Он сочинял и оперы, а как же можно было в те времена не сочинять их?

Самая известная из них, «Деревенский колдун», с успехом шла в парижской королевской опере. И, как ему передавали, король любил напевать «самым фальшивым голосом во Франции» арии из нее. Многие люди не читали его трактатов, но восхищались его музыкой. Он получил, наряду с очень жесткими критическими замечаниями, снисходительную поддержку великого композитора Рамо, во всяком случае, *поначалу* относившегося к его музыкальному творчеству достаточно серьезно, но, в достоверном представлении более позднего Руссо, недружелюбно и свысока, что мы можем понять. Жан-Жак любил петь и с помощью некоторых приятелей получил исходные представления о композиции, усовершенствовав их самостоятельно.

В Лозанне, тоже юношей, оказавшись полностью на мели и отрекомендовавшись парижанином, Руссо имел наглость ради заработка, давать, уроки музыки («как будто я ее знаю») и пения, не будучи сам в состоянии спеть с листа хоть одну арию (с. 34). Позже он, по его словам, потихоньку овладевал музыкой, преподавая ее.

Итак: «Я говорю о музыке. Я, видно, рожден для этого искусства, так как начал любить его еще в детстве и только его любил постоянно и всегда. Странно, что искусство, для

которого я был создан, тем не менее давалось мне с большим трудом, и я делал в нем столь медленные успехи...» (с. 161).
Всю жизнь Руссо продолжал совершенствоваться и достиг достаточной зрелости. Жан-Жак, прекрасно понимавший любительские недочеты своих текстов, очень гордился удачами в них (см. например, с. 187), особенно по части мелодизма, и простодушно считал – став с возрастом подозрительным и недоверчивым – что предполагаемые козни и враждебность вчерашних друзей были вызваны именно завистью к его музыкальной популярности. Прозой и трактатами они, де, вполне славились и сами. Но музыку ведь не писали (с. 337)!

А для Руссо музыкальные дела стали ничуть не менее важными, чем писательские. Об этом он вспоминает едва ли не чаще, чем о словесных сочинениях: «...Голова моя была полна аккомпанементов, аккордов, гармонии...» (с. 194). Он в юности вызвался сочинить менуэт и сочинил за две недели, не имея ни малейшего представления о том, как сочиняют менуэты. Дело кончилось попросту смехом и скандалом, об этой авантюре Руссо вспоминает с юмором и стыдом (с. 156–157). Но это тоже были только самые ранние шаги. Впоследствии он стал более или менее профессионалом.

В детстве его научили гравировке часов, и она ему понравилась.

А еще: «Я очень любил рисовать». Позже: «Я накопил красок и стал рисовать цветы и пейзажи. Жаль, что у меня не оказалось достаточного таланта к этому искусству: склонность к нему была велика. Я готов был проводить целые месяцы, безвыходно сидя дома со своими карандашами и кистями. Так как это занятие становилось для меня слишком увлекательным, пришлось оторвать меня от него. Так случается со всеми моими увлечениями, – они растут, переходят в страсть, и я уже ничего в жизни не вижу кроме того, чем занят» (с. 161).

5 Далее лучше всего, чтобы произвести известное впечатление на читателей, сделать ряд выписок вовсе без комментариев.

«Я накупил книг по арифметике и хорошо изучил эту науку, так как изучил ее один (1)... Размышление, соединенное с практикой, сообщает мыслям отчетливость, и тогда находишь сокращенные способы, изобретение которых льстит самолюбию, а точность удовлетворяет ум» (с. 160)». Алгеброй он тоже занимался, хотя предпочитал наглядность геометрии. Руссо усердно штудировал и книги по химии.

В юности его очень привлекали радости гербаризирования. Он чуть было не принялся сам собирать растения, но до поры, слава богу, удержался. «Я почти уверен, что, если бы хоть раз пошел (ради этого в лес – Л. Б.) – это увлекло бы меня, и теперь я стал бы, может быть, великим ботаником, потому что не знаю никакой науки на свете, которая была бы так близка моим природным вкусам, как наука о растениях; в жизни, которую я веду уже десять лет в деревне, продолжалось не что иное, как непрерывное гербаризирование, правда, бесцельное и лишённое движения вперед; но тогда, не имея ни малейшего понятия о ботанике...». И т. д. Растениями, впрочем, он интересовался и изучал их всегда со страстью и со справочником в руках. Вплоть до последней прогулки, во время которой он упал замертво.

Позже он прочел все же немало книг по ботанике и имел о ней собственное представление, связывая ее с химией и медициной. В его рукописном наследстве осталось и сочинение о химии!

Останусь я жив или умру, мне нельзя терять времени. В двадцать пять лет ничего не знать и стремиться узнать все – это значит взять на себя обязательство не терять времени даром. Не зная, в какой момент судьба или смерть остановит мое рвение, я хотел на всякий случай приобрести

знания обо всем – и для того, чтобы исследовать свои природные дарования, и чтобы решить, что более заслуживает изучения (с. 206).

А заодно: «...я, между прочим, увлекся голубятней и так полюбил ее, что проводил целые часы, не скучая ни минуты» (с. 208)... «Я всегда любил приручать животных, особенно пугливых и диких. Мне доставляет огромное удовольствие завоевывать их доверие и никогда их не обманывать». Он также одно время увлекался пчеловодством (с. 208). И очень – шахматами, познакомившись с лучшими тогдашними французскими шахматистами, начиная с Филидора, часто пропадал в их клубе. Хотя и без особого успеха, поэтому в очередной раз иронизируя над собой. Ему не давались фехтование и танцы. Зато он... научился у соседок расшивать «шнурками» и готов был брать с собой подушку с рисунком, чтобы меньше скучать в светских гостиных и не участвовать в ненавистой пустой болтовне.

Я начал с кое-каких философских книг: с «Логики» Пор-Рояля, «Опытов» Локка, с Мальбранша, Лейбница, Декарта и других. Вскоре я заметил, что все эти авторы находятся между собой почти в постоянных противоречиях, я задался химерическим планом согласовать их, что очень меня утомило и отняло много времени. Я запутался и перестал двигаться вперед. Наконец, отказавшись от этой методы, я усвоил гораздо лучшую. Я ей обязан тем, что достиг успехов, несмотря на недостаток способностей, которых, очевидно, у меня всегда было слишком мало для изучения наук. Читая любого автора, я принял за правило усваивать его мысли и следить за их развитием, не примешивая к ним ни своих собственных, ни чужих мыслей, и никогда его не оспаривать. Я сказал себе: «Начнем с того, что станем собирать мысли, истинные или ложные, но во всяком случае ясные, – пока голова моя не наполнится ими достаточно, чтобы выбирать между ними и иметь возможность сравнивать их». Этот ме-

год, я знаю, не безупречен, но оказал мне услугу в деле моего образования. Через несколько лет, посвященных исключительно изучению чужих мыслей, – так сказать, не рассуждая или почти не рассуждая, – я приобрел довольно большой запас знаний, которых было достаточно для меня самого и для того, чтобы мыслить без чужой помощи (с. 211).

Больше всего уделял я внимания истории и географии... (с. 213).

Я мог бы увлечься даже астрономией, если б у меня были инструменты, но мне пришлось ограничиться элементарными сведениями из книг... (там же).

Впрочем, он раздобыл планисферу и подзорную трубу, тщательно изучал звездное небо к изумлению соседских крестьян.

«Чтобы dokonать себя, я ввел в свои чтения кое-что из физиологии и принялся изучать анатомию ...» (с. 212). Но не настолько, чтобы практически исследовать препарированные трупы, отталкивавшие его своим растерзанным видом и зловонием.

Еще одна симпатичная шутка по поводу своей склонности увлекшись то тем, то этим, забывать тут же обо всем на свете: «Страсть к учению превратилась у меня в манию, которая делала меня как бы придурковатым, так как я постоянно бормотал себе что-то под нос» (с. 215).

Однако, говоря всерьез, Руссо, едва ли не первым, на ходу роняет замечание о том, что мы теперь назвали бы междисциплинарностью. «При настоящей склонности к наукам первое, что ощущаешь, погружаясь в них, это их связь между собой, в силу которой они притягиваются, помогают друг другу и объясняют друг друга так, что одна не может обойтись без другой. ... Так я вернулся (при работе над своими музыкальными раздѣлами «Энциклопедии». – Л. Б.) к обыкновенному синтезу, но вернулся как человек, знающий, чего он хочет» (с. 208).

6 Осталось прибавить к этому разделу важное замечание. В чем общий смысл моего обильного цитирования свидетельств о самообразовании Руссо? Очевидно – и он сам не раз об этом пишет – что, помимо внешних условий, цель его состояла в рефлексивных и совершенно осознанных поисках самого себя, своей индивидуальности. *Он считал правильным и более эффективным полагаться во всем, начиная с арифметики (см. выше) и кончая религиозными представлениями, на собственные силы.*

Руссо стремился при помощи опытов на самом себе понять характер и пределы своих умственных и прочих способностей, дабы сосредоточиться на том, что наилучшим образом соответствовало бы им. Он иногда сомневался, достает ли ему таланта к наукам и пр., когда продвигался гораздо медленней, чем ему хотелось. Это относится особенно явно к латыни, шахматам и, прежде всего, к музыке, для которой он *парадоксально* чувствовал себя рожденным. Он утверждал, что следует сосредоточиться для достижения общепризнанного успеха на чем-то одном и знать об этом предмете все, об остальном же понемногу.

Сию известную сентенцию Руссо высказал едва ли не первым. Но дело было, конечно, часто не в недостатке специфических способностей (хотя нельзя быть одаренным в равной мере во всем), и не столько в жизненных обстоятельствах, помешавших систематическому учению, скажем, в семинарии, а, повторяю, в том, что Жан-Жак хотел узнать все самостоятельно.

Дойти до всего собственным умом.

Чтобы навязанные учителями извне знания и взгляды не препятствовали независимому раскрытию личных особенностей и тяготений. Корочё, в том, что Руссо остался самоучкой и превратил себя из невежественного подростка в гения, тоже выразительно отразилось его неслыханное концептуальное понимание индивидуальности, а не просто житейские обстоятельства.

7. Беспрецедентно его напряженное *думание над своим думанием* (присущим только ему, трудным и прозрачно простым). Еще одна, увы, опять непомерно большая, но для моего замысла весьма существенная выписка.

«Непостижимым для меня самого образом два свойства, почти несовместимые, сливаются во мне: очень пылкий темперамент, живые, порывистые страсти – и медлительный процесс зарождения мыслей: они возникают у меня с большим затруднением

Могут сказать, что мое сердце и мой ум не принадлежат одному и тому же индивиду. (*On dirait que mon cœur et mon esprit n'appartiennent pas au même individu*)» (p. 158).

(Характерно, что прекрасный русский переводчик, не задумываясь, передает «индивида» как «личность», с. 104.)

...Медлительность мысли, соединенная с живостью чувства, бывает у меня не только в разговоре, но даже во время работы и когда я один. Мысли размещаются у меня в голове с величайшей трудностью, они двигаются там вслепую, приходят в такое брожение, что волнуют меня, разгорают, доводят до сердцебиения; и среди всей этой сумятицы я ничего не вижу ясно <...> Выйдя из равновесия, я тупею ...; мне необходимо хладнокровие, чтобы мыслить ...

Вот почему я пишу с величайшим трудом. Мои рукописи, испещренные помарками, исчерченные, путанные, неудобочитаемые, свидетельствуют о тяжких усилиях, которых они мне стоили. Нет ни одной из них, которую мне не пришлось бы переписывать четыре или пять раз, прежде чем сдать в печать. Никогда не мог ничего создать, сидя за столом с бумагой и с пером в руке; на прогулках, среди лесов и скал, ночью в постели во время бессонницы, – вот когда я пишу в своем мозгу... (с.195).

Мне, в общем, все равно, совершенно ли точен Руссо в рассказе о своем личном способе думать и сочинять (хотя

я не вижу причин не доверять этим сообщениям его о себе, как и искренности всей «Исповеди»). В конце концов, не только Руссо доводилось переживать интеллектуально-содержательные бессонницы или обдумывать что-то на ходу. Даже, если в этом – или ином описании – есть некая подсветка требований сентименталистского стиля, важно, что Жан-Жак впрямь вечно был занят напряженной рефлексией на себя. Как и всякий человек, желающий основательно понять собственную индивидуальность. «...Мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня» (с. 15).